

A man with grey hair, wearing a white shirt, is seated at a piano, looking upwards with a contemplative expression. His hands are on the keys. In the background, a woman in a white dress is running up a set of stairs. The scene is filled with soft, golden light and falling leaves, creating a dreamlike atmosphere. A small tree with orange leaves is visible on the right side of the frame.

СКАЗКА

КОТОРАЯ ЖИВЁТ

ДМИТРИЙ ИНШАКОВ

Дмитрий Иншаков

Сказка, которая живет

<https://litres.ru/74664204>

SelfPub; 2026

Аннотация

Сказка — ложь, да в ней намёк. И этот намёк — для тебя.

Жизнь бывает несправедлива. Будут грозы, потери и ночи, когда темно так, что не видно собственных рук. Эта книга не обещает, что будет легко. Она обещает, что будет честно.

Девочка рождается, делает первый шаг, влюбляется, теряет, ошибается, находит своё место и свою тень. С ней говорит ветер, клён отвечает листом, а луна светит тем, кто не спит. Это не просто сказка, а инструкция к жизни без инструкций: где советы вплетены в сюжет, где боль не прячут, где каждый понимает по-своему — ребёнок своё, взрослый своё.

Здесь нет схем и правильных ответов. Здесь есть истории, в которых ты узнаешь себя и, может быть, впервые не отшатнёшься.

Эта книга для детей, которые слушают. Для взрослых, которые читают. И для того внутреннего ребёнка, который всё ещё сидит в темноте и ждёт, когда его заметят.

Сказка, которая живет

Вступление

Эта книга не для того, чтобы её прочитали за один вечер.

Я знаю, как хочется иногда: открыл, проглотил, закрыл, поставил на полку и забыл. Так тоже можно, никто не запретит, но с этой книгой так не получится, потому что она не про то, чтобы узнать, а про то, чтобы прожить. Её надо читать медленно, по главе, а может, и по половине главы, и между главами — молчать, ходить, смотреть в окно, вспоминать. Потому что каждая глава — это не страница, а месяц. И год. И целая жизнь, которая умещается в несколько строк и не умещается в них никогда.

Жизнь бывает несправедлива.

Я не буду делать вид, что это не так, не буду обещать, что если ты будешь хорошим, добрым, правильным, то всё будет хорошо, потому что это неправда. Будут грозы. Будут шторы. Будут ночи, когда темно так, что не видно собственных рук, и дни, когда кажется, что всё, что ты строил, рушится, и нет никакой силы, чтобы это удержать. Будут потери. Будут люди, которые уйдут, и не потому что ты плохой, а потому что у них своя дорога. Будут ошибки, за которые больно, и слова, которые не вернуть, и чашки, которые горячие, хотя тебе говорили, что горячо.

Я не обещаю, что будет легко. Я обещаю только, что будет честно.

Но вот что я знаю точно, и это не утешение, а правда: в каждой темноте есть луна, и она светит не всем сразу, а тем, кто не спит, кто один, кто ищет. В каждой зиме есть клён, который стоит голый, чёрный, как будто нарисованный тушью, и ждёт весны, потому что знает: она придёт, не в этот день, так в другой. В каждом падении есть коленка, которая помнит, что ты уже вставала, и в каждом «я не могу» есть тихий голос, который говорит: ты уже шла, дойдёшь и сейчас.

Эта книга — не про идеальность.

Она не про то, чтобы стать Машей, которая рисует лучше всех, или орлом, или ястребом, или кем-то ещё, кем надо быть. Она про то, чтобы быть собой, даже если это не как надо, даже если это страшно, даже если за это придётся платить. Здесь не будет волшебных таблеток и правильных ответов, здесь не будет «делай раз, делай два», потому что жизнь так не работает, и ты это знаешь не хуже меня. Здесь будет сказка. Но сказка не про то, что всё закончится хорошо, а про то, что даже если не закончится, ты сможешь идти. И прийти.

Потому что сказка — это не ложь. Сказка — это способ сказать правду так, чтобы её можно было вынести.

Внутри этой книги двенадцать глав, и каждая из них — дверь.

За одной дверью — первый вдох, первый холод, первый свет, первое тепло чужих рук. За другой — двенадцать километров по холодной дороге, когда кажется, что тебя бросили, а на самом деле ты идёшь к себе. За третьей — руки, которые

держат, и руки, которые отпускают, и камушек в кармане, который помнит море. За четвёртой — зеркало, в котором ты сначала не узнаёшь себя, а потом узнаёшь, и это узнавание стоит дороже всего. За пятой — гром, темнота и луна, которая светит тем, кто не спит. За шестой — другая девочка, которая отвернулась, и подруга, которая уехала, и понимание, что мир не вращается вокруг тебя, и это не обидно, это освобождает.

А за остальными дверями — то, что ещё впереди: своё место, которое не даётся, а создаётся; потеря, которую нельзя предотвратить, но можно пережить; своя дорога, которую никто за тебя не пройдёт; своя тень, которую не надо прогонять, потому что она — часть света; и возвращение, которое на самом деле не возвращение, а шаг дальше.

В каждой главе — четыре слоя, и они не спорят друг с другом, а дышат вместе. Первый слой — месяц первого года жизни, когда ты ещё не умеешь слов, но уже умеешь чувствовать. Второй — год детства, когда ты учишься ходить, падать, вставать, дружить и терять. Третий — вся жизнь, юность, взрослость, старость, первая любовь, первое расставание, институт, работа, потеря близких, всё то, через что проходит каждый, и ты не исключение. А четвёртый — маленькая история в конце, притча, которая не объясняет, а оставляет след, потому что сказка — ложь, да в ней намёк, и каждый возьмёт своё: взрослый — своё, ребёнок — своё, и оба будут правы.

Я не буду говорить тебе, что делать.

Я не буду гладить по голове и говорить, что всё будет хорошо, если ты просто поверишь в себя, потому что это тоже неправда, и ты это знаешь. Я буду говорить то, что вижу, иногда это будет больно, иногда непонятно, иногда захочется закрыть книгу и не возвращаться. Это нормально. Так и должно быть, потому что всё живое сначала сопротивляется, а потом отпускает.

Эта книга — инструкция к жизни, но не в том смысле, в каком пишут инструкции к холодильнику.

В ней нет схем и шагов. В ней есть истории, в которых ты узнаешь себя, и, может быть, впервые за долгое время не отшатнёшься, а останешься. Потому что узнать себя в сказке легче, чем в зеркале, и простить себя в сказке тоже легче. И если после какой-то главы ты закроешь книгу, посидишь в тишине и скажешь себе что-то, чего давно не говорил, значит, она уже работает.

Я не знаю, кто ты. Может, взрослый, который читает это своему ребёнку, а может, ребёнок, который читает это сам, а может, взрослый, который читает это своему внутреннему ребёнку, тому, который всё ещё сидит в темноте и ждёт, когда кто-нибудь придёт. Я не знаю, и мне не нужно знать, потому что эта книга не про возраст, а про то, что внутри, а внутри у всех одно и то же: страх, что не выберут, и надежда, что всё-таки выберут, боль от того, что ушли, и радость от того, что кто-то остался, и тихое знание, что ты дойдёшь,

даже если сейчас не веришь в это.

Так что не спеши. Прочитай одну главу. Закрой. Поживи с ней. А потом возвращайся, потому что дверь открыта, и она не закроется, даже если ты уйдёшь надолго.

Ты уже дошла однажды. Дойдёшь и сейчас.

Глава 1. «Та, что пришла с ветром»

В ту ночь ветер был странный.

Он не выл. Не бился в стёкла. Он шёл. Медленно. Как будто искал что-то. Или кого-то.

Он прошёл над морем — и море затихло. Он прошёл над лесом — и листья перестали дрожать. Он прошёл над городом — и фонари мигнули. Один раз.

А потом он остановился.

У окна.

На седьмом этаже. Где горел свет. Где женщина ходила по комнате. Туда-сюда. Туда-сюда. И держалась за живот.

Ветер прижался к стеклу. И стал ждать.

Он не знал, что ждёт. Он просто знал: здесь. Сейчас. Что-то будет.

И это случилось.

Крик. Не громкий. Но такой, что ветер вздрогнул. Впервые за тысячи лет. Он вздрогнул.

И тогда он понял: она.

Девочка родилась ночью. В четыре семнадцать. Врач сказал: «Крепкая. Громкая». Мама заплакала. Папа — тоже. Но тихо. Чтобы никто не видел.

А девочка — девочка не плакала. Она слушала.

Она слышала всё сразу. Свет лампы — он гудел. Пахло чем-то резким — она не знала, что это. Чьи-то руки — они дрожали. И были тёплые. Очень тёплые.

Но было ещё что-то. За окном. Не звук. Не запах. Что-то другое. Оно звало. Не словами. Просто — звало.

И девочка повернула голову. Куда-то в сторону. Туда, где было темно.

Мама сказала:

— Смотри, она уже вертится. Куда ты, маленькая?

А девочка — девочка видела.

За окном стоял ветер. Она не знала, что это ветер. Она вообще не знала слов. Но она видела: что-то есть. Что-то живое. Оно смотрело на неё. И ждало.

И тогда ветер сказал.

Не вслух. Не шёпотом. Как-то иначе. Так, что девочка поняла без слов:

— Ты пришла. Я ждал.

Девочка не ответила. Она не умела. Но она моргнула. И ветер понял: «Да. Я здесь».

А потом была ночь.

Долгая. Странная. Девочка не спала. Она лежала в своей кровати — маленькой, прозрачной, с табличкой, где было написано непонятное. И смотрела в окно. Там было темно. Но не пусто.

Ветер не уходил. Он ходил вокруг больницы. Круг за кругом. Как будто охранял. Или как будто ждал чего-то ещё.

И девочка вдруг поняла — не словами, а всем собой — что она не просто родилась. Она пришла. И пришла не одна.

С ней что-то было. Что-то, чего она пока не видела. Но чувствовала. Как будто в кармане — а кармана не было — лежало что-то маленькое. Тёплое. Важное.

И она должна была это найти. Или сохранить. Или понять. Она не знала. Но знала: это — зачем.

Утром ветер ушёл.

Не навсегда. Он никогда не уходит навсегда. Но он ушёл. Потому что понял: теперь она справится. Не потому что сильная. Потому что не одна.

А девочка — девочка впервые улыбнулась.

Не маме. Не папе. Не врачу.

Ветру. Которого уже не было. Но который был.

И мама сказала:

— Смотри, она улыбается. Наверное, сон хороший.

А девочка подумала — не словами, а собой:

«Нет. Не сон. Начало».

Притча-эхо. Мальчик, который нашёл море

Один мальчик жил в доме у дороги. Он никогда не видел моря. Но каждую ночь ему снился запах. Солёный. Станный. И он просыпался и не мог понять: откуда?

Он спрашивал маму. Мама говорила: «Не выдумывай».

Он спрашивал папу. Папа говорил: «Спи давай».

Но запах не уходил. Он звал.

И тогда мальчик пошёл. Взял хлеб. Взял воду. И пошёл. Куда — не знал. Просто шёл. На запах.

Он шёл три дня. Через поле. Через лес. Через чужой город. И на четвёртый день — увидел.

Море.

Оно было не такое, как он думал. Не синее. Серое. Холодное. Шумное. Оно не улыбалось. Оно дышало.

И мальчик сел на берег. И заплакал. Не от горя. От узнавания.

Он не знал, что искал. Но он знал, что нашёл.

Он просидел там до вечера. А потом встал. И пошёл обратно.

Потому что понял: море — не место. Море — внутри. И теперь он носил его с собой.

Глава 2. «Двенадцать километров»

Трещинка на потолке погасла.

Но что-то осталось — не в комнате, внутри, как будто после дождя запах: дождь ушёл, а запах живёт, в воздухе, в земле, в тебе.

Девочка спала, и во сне видела — не сны, другое, — как будто кто-то открыл окно и впустил мир, не тот, что за стеклом, а другой, больший, где всё связано, где ветер знает её

имя, где дождь считает её шаги, где трещинка на потолке — не трещинка, а дверь.

Она проснулась утром. Солнце было косое, осеннее, оно лежало на полу длинными полосами, и в этих полосах — пыль, медленная, как будто танцевала. Девочка смотрела на пыль, долго, и думала — не словами, собой: «Красиво. И никто не видит. Только я».

Это было второе, что она знала сама.

Шёл второй месяц.

Она лежала в кровати, смотрела в окно. За окном — клён, огромный, старый, он стоял там, наверное, сто лет, и видел всё: как строился дом, как въезжали люди, как родилась она. Он видел — и молчал, но не так, как молчит стена, а так, как молчит тот, кто знает, и ждёт, когда спросят.

Девочка спросила.

Не словами — взглядом. Она смотрела на клён, долго, пристально, и клён ответил — не сразу, через лист. Один лист оторвался, не от ветра, ветра не было, просто оторвался, и полетел, медленно, кружась, как будто танцуя, и упал на подоконник, прямо напротив её окна.

Девочка моргнула.

Она не знала, что это значит, но знала: это для неё. Клён услышал и ответил, так, как умел, — листом.

Она улыбнулась, уже второй раз — не маме, не папе, клёну, который не видел её улыбки, но знал.

А потом мама ушла на кухню.

Всего на минуту: чайник, что-то зашипело, что-то зазвенело, мама исчезла за стеной, и девочка осталась одна.

Не в первый раз, но в первый — так.

Потому что раньше она не понимала, а теперь поняла: мама ушла и не вернулась, сразу, прошла секунда, две, три, десять, она не вернулась.

Девочка замерла.

В комнате было тихо, только часы: тик, тик, тик, они шли и не останавливались, и это тик было громче всего — громче сердца, громче дыхания, — оно заполняло комнату, и девочка слушала, и ждала.

Потом не выдержала.

Она захотела маму, так сильно, что это вышло из неё — не криком, волной, тёплой, как дыхание, только длиннее. Оно прошло сквозь стену, сквозь кухню, сквозь чайник, и нашло маму.

Мама вернулась.

Сама, не потому что услышала, а потому что почувствовала, как будто кто-то позвал, не голосом — сердцем. Она вошла, взяла девочку на руки, прижала и сказала:

— Что случилось? Ты меня звала?

Девочка молчала, она не умела говорить, но она знала: получилось. Она позвала — и пришла, не ногами, не криком, собой.

И это было третье, что она знала сама.

Шли дни.

Осень заканчивалась: листья на клёне желтели, потом краснели, потом падали, каждый день новые, и каждый день один прилетал к её окну, как письмо. Девочка ждала его каждое утро, смотрела на клён и знала: сегодня будет, и было.

Мама говорила:

— Смотри, какой листопад.

А девочка думала — не словами, собой: «Это не листопад, это разговор, просто ты не слышишь».

Ей два года.

Двор, утро, холодное: первый снег выпал ночью, немного, тонкий слой, как сахарная пудра, на земле, на скамейке, на качелях. Девочка вышла гулять, в комбинезоне, толстом, как медвежонок, ей жарко, ей тесно, но она идёт.

И падает.

Не сильно, но больно: коленка, через комбинезон не видно, но чувствуется — что-то тёплое, что-то мокрое, кровь.

Девочка смотрит на коленку, потом на маму.

Мама не бежит.

Она стоит, далеко, руки в карманах, шарф до глаз, и смотрит, ждёт.

И говорит:

— Иди сюда. Сама.

Девочка не понимает: ей больно, ей страшно, она хочет,

чтобы мама подошла, взяла, пожалела, но мама не идёт.

Девочка плачет, громко, чтобы услышала, чтобы сжалилась, но мама стоит и ждёт.

И тогда девочка встаёт.

Не потому что не больно — больно, — но она встаёт и идёт, хромает, медленно, шаг, ещё шаг, ещё, и доходит.

Мама берёт её на руки, крепко, так, что трещат косточки, и говорит тихо, в макушку:

— Ты дошла. Запомни это. Ты всегда дойдёшь.

Девочка не понимает слов, но запоминает — не умом, телом, где-то в коленке, где-то в шагах, где-то глубже, там, где живёт то, что не забывается.

Снег падает, медленно, на ресницы, на губы, на коленку, и тает, и девочка смотрит на снег и думает — не словами, собой: «Холодно. Но я дошла. И мама здесь. Значит, хорошо».

Прошло пятнадцать лет.

Осень, ночь, тёплая, такая, когда воздух не движется, а стоит, как вода в стакане, и в этом стоячем воздухе — запахи: пыль от дороги, мокрая трава у обочины, чей-то дым, далёкий, из трубы, и ещё что-то сладкое, наверное, липа, где-то рядом цвела липа.

Ей семнадцать. Она стоит на остановке. Автобус не пришёл, последний, ушёл, она одна, в чужом районе, до дома — двенадцать километров, телефон сел, денег на такси нет.

Она стоит, смотрит вслед автобусу, хотя его уже не видно,

только красные огни, далеко, как две точки, и тишина, такая, что слышно, как кровь в ушах.

Она думает: «Вот и всё. Вот и взрослая жизнь. Стоишь одна на остановке. И никто не приедет».

И тут — мотоцикл.

Он не спрашивает куда, он просто тормозит, резко, так, что пыль взлетает, и свет фары бьёт в глаза, ярко, так, что больно.

Он снимает шлем, улыбается и говорит:

— Садись. Довезу.

Она смотрит на него: он красивый, не как в кино, по-другому, живой, с пылью на щеке, с запахом бензина, с улыбкой, которая не обещает ничего и обещает всё.

Она садится.

Не потому что доверяет, а потому что устала, и потому что он красивый, и потому что ночь, и потому что семнадцать.

Они едут.

Ветер бьёт в лицо, так, что слёзы, не от горя — от скорости, от того, что всё впервые. Мимо поля, тёмные, живые. Мимо лес, стена, молчит. Мимо река, блестит, как стекло. Мимо звёзды, наверху, смелые, смотрят и болеют за неё, как болельщики, только тихие.

Она держит его за спину, крепко, руки под курткой, там тепло, там сердце, быстрое, как мотоцикл. Впервые держит — не маму, не игрушку, мальчика, — и это другое, оно горячее, оно страшное, оно нужное.

Он кричит сквозь ветер:

— Ты красивая!

Она молчит, потому что не знает, что сказать, потому что внутри всё сжалось и раскрылось одновременно, как кулак, как цветок.

Они останавливаются — не у её дома, у его. Дом старый, двухэтажный, с синей дверью, с фонарём над крыльцом; фонарь горит, тускло, как будто устал.

Он говорит:

— Зайдёшь?

Она знает, что нельзя, она слышит мамин голос где-то внутри, тихо, далеко, но слышит, — но она не идёт за этим голосом, она идёт за ним, потому что хочет, потому что впервые сама.

Утром он говорит:

— Мне пора.

Она говорит:

— Я с тобой.

Он говорит:

— Нет.

И уезжает.

Просто, на мотоцикле, не оборачиваясь, как будто её не было, как будто ночь не была, как будто она не она.

Мотор затихает вдали, долго, потом совсем, и тишина — такая же, как тогда, на остановке, только теперь хуже, потому что тогда она была одна, а теперь брошена.

Она стоит.

Улица пустая, утро серое, небо низкое, как потолок, как крышка, дома молчат, окна закрыты, никто не смотрит, никто не видит, и это хорошо, потому что если бы видели — было бы хуже.

До дома — двенадцать километров.

Она идёт.

Первый километр плачет, не тихо, громко, чтобы слышали, чтобы вернулся, но он не слышит, он далеко и не вернётся.

Второй злится — на себя, на него, на всё: «Дура, дура, дура», слово бьёт в голове, как молоток, как метроном.

Третий молчит: слёзы кончились, злость кончилась, осталась пустота, как ведро без дна.

Четвёртый думает: «Я никто» — просто девочка, которую бросили, которая поверила, которая была ничем и стала ничем.

Пятый: «Я дура», снова, но тише.

Шестой: «Я больше никогда» — никогда не поверю, никогда не сяду, никогда не буду.

Седьмой устаёт: ноги гудят, коленка ноет, та самая, из детства, которая помнит.

Восьмой пусто, совсем, как выключили, и тихо, так тихо, что слышно птиц, они проснулись и поют, как будто ничего не случилось, как будто мир не заметил.

Девятый больно — не ногами, внутри, как будто что-то

сломалось и не склеится, никогда.

Десятый тихо, и вдруг легче, не сильно, чуть-чуть, как будто ветер подул, впервые за всю дорогу, и сдул часть.

Одиннадцатый вспоминает.

Коленку. Двор. Два года. Снег. Маму, которая не бежала. И слова: «Ты всегда дойдёшь».

Двенадцатый видит дом.

Свой, родной, с клёном, с синей дверью — нет, другой дверью, своей, — где мама, где чай, где тепло.

Она дошла.

И поняла — не умом, телом, всей собой, — что она не из-за него: она до него, и после, и без.

Она не стала слабее, она стала своей.

Клён стоял и молчал, но смотрел, и знал, и когда она пошла — один лист оторвался, не от ветра, ветра не было, просто оторвался, и полетел, и упал ей под ноги.

Она остановилась, посмотрела вниз, потом вверх, на клён, и кивнула — не головой, собой.

«Я дошла».

Ей тридцать.

Кухня, утро, светлое: через окно солнце, косое, осеннее, как тогда, в детстве, на полу полосы, и в полосах пыль, медленная, как будто танцует.

Она варит кашу своему сыну. Ему три. Он сидит за столом, болтает ногами, ждёт.

Он упал на улице час назад, коленка в кровь, плакал громко. Она не бежала, она стояла и сказала:

— Иди сюда. Сам.

И он пошёл, хромал, но шёл, и дошёл.

И она взяла его на руки, крепко, так, что трещат косточки, и сказала тихо, в макушку:

— Ты дошёл. Запомни это. Ты всегда дойдёшь.

И вспомнила.

Ночь. Мотоцикл. Двенадцать километров. И себя, семнадцатилетнюю, которая шла и дошла.

Она улыбнулась.

Не ему, себе, той, прежней, которая не знала, что дойдёт, но шла.

Сын спрашивает:

— Мам, ты чего?

Она говорит:

— Ничего. Просто вспомнила одно утро.

Он не понимает, ему три, он ест кашу, ложкой, криво, мимо рта, на стол.

А она смотрит на него и думает — не словами, собой: **«Ты тоже дойдёшь. Я знаю. Потому что я дошла».**

Притча-эхо. Птица, которая летела не туда

Одна птица улетела из гнезда.

Слишком рано: крылья слабые, ветер сильный, она не хотела, но полетела, потому что другие летели, и потому что

казалось — пора.

Она упала.

В чужой лес, где не знала ни одного дерева, где не было её гнезда, где никто её не ждал.

Лес был густой, и в этой густоте ветки, колючие, цеплялись за крылья, за перья, за всё, чем можно зацепиться. Мох под лапами холодный, мокрый, как будто здесь никогда не было солнца. А тишина — не добрая, пустая, как будто все ушли и забыли про неё, как будто она одна во всём мире, и мир молчит.

Она сидела на ветке и дрожала, и думала: «Я никогда не вернусь. Я потерялась». И плакала — птичьими слезами, которые никто не видит.

Но потом вспомнила.

Не путь, не карту — запах: гнезда, мамы, того места, где она родилась, где тепло, где пахнет домом.

И полетела.

Низко, медленно, от дерева к дереву, от ветки к ветке, не туда, куда надо, а туда, где пахнет домом.

Долго летела: ночь, день, ночь, крылья устали, сердце колотилось, но запах не пропадал, вёл.

И долетела.

И мама не спросила: «Почему так долго?» Она просто подвинулась, и птица села рядом.

И поняла: дом — не место. Дом — это когда тебя не спрашивают, почему ты улетала.

Глава 3. «Руки, которые держат»

Шёл третий месяц.

За окном стояла зима — настоящая, не та, что в декабре, с мокрым снегом и серым небом, а другая, сухая, звонкая, с морозом по утрам и солнцем, которое светит, но не греет. Клён за окном стоял голый, чёрный, как будто нарисованный тушью на белой бумаге, и на каждой ветке — иней, тонкий, как соль. Девочка смотрела на него каждое утро, и каждое утро он был разный: иногда белый, иногда розовый, иногда синий, как будто клён дышал, и это дыхание было видно.

Девочка лежала в кроватке, на спине, и училась держать.

Сначала ничего не получалось: пальцы сжимались в кулак, но не слушались, она хотела взять погремушку, а брала воздух, хотела удержать, а роняла. Погремушка падала на одеяло, тихо, и девочка злилась — не плакала, а злилась, внутри, как будто что-то закипало, и это было новое, злость, она ещё не знала, что это так называется, но чувствовала: что-то не так, что-то не получается, и это больно.

Она смотрела на свою руку, долго, как будто впервые её видела: пять пальцев, маленькие, розовые, с ямками вместо костяшек, и ногти, тонкие, как лепестки. Она сжимала их, разжимала, сжимала снова, и вдруг поняла — не умом, телом, — что рука её, что она слушается, что если очень захотеть — получится.

И тогда она схватила.

Погремушку, крепко, так, что побелели пальцы, и держала — секунду, две, три, — и отпустила, сама, не потому что устала, а потому что захотела, и это было первое, первое своё, не мамино, не папино, её.

Мама увидела и сказала:

— Смотри-ка! Держит!

А девочка подумала — не словами, собой: «Я знаю, я умею, я могу».

И это было начало, начало всего, потому что вся жизнь — в этом: в том, чтобы держать и отпускать.

Ей три года.

Детский сад, первый раз, без мамы.

Утро было серое — не страшное, просто серое, как будто небо устало быть синим. Они шли по улице, мама держала её за руку, крепко, так, что тепло, так, что не страшно, но девочка знала: сейчас будет дверь, и мама уйдёт, и останется она — одна, с чужими, с детьми, с воспитательницей, с запахом незнакомым, с шумом громким, с миром, который больше, чем дом.

Дверь была синяя, как та, у мотоцикла, но девочка ещё не знала про мотоцикл, она просто увидела синюю дверь и остановилась.

Мама сказала:

— Ну, что ты? Идём.

Девочка молчала, она смотрела на дверь, и внутри сжималось — то самое, как тогда, когда мама ушла на кухню, когда было темно, когда никого.

И тогда мама присела, на корточки, чтобы глаза — в глаза, и сказала:

— Я не уйду, я буду ждать, здесь, за дверью, ты не одна.

И вложила ей в руку камушек — маленький, гладкий, серый, с блестящей прожилкой, речной, мама нашла его летом, на море, и привезла, и теперь отдала.

Девочка сжала камушек, крепко, как погремушку, тогда, в три месяца, и почувствовала: тепло — не мамино, камушка, он был тёплый, как будто живой, как будто помнил море, солнце, волны.

И девочка отпустила мамину руку, сама, и вошла в дверь.

Не потому что не страшно — страшно, — но камушек в кармане, и это держало.

В группе было много детей: громких, быстрых, они бежали, кричали, дрались и смеялись. Девочка села в угол, на маленький стул, и смотрела, и держала камушек, в кармане, через ткань, как будто гладила.

К ней подошла девочка — другая, рыжая, с веснушками, с косой, которая торчала в разные стороны, как солома.

Она сказала:

— Ты чего сидишь?

Девочка молчала, она не знала, что сказать.

Рыжая сказала:

— Давай дружить.

И протянула руку, ладонью вверх, как будто просила — не конфету, не игрушку, дружбу.

Девочка смотрела на руку, долго, как тогда, на свою, в три месяца, и вспомнила: держать можно, отпускать тоже, и взяла.

Ладонь была тёплая, сухая, с царапиной на пальце — рыжая упала где-то до этого, и не плакала, — и это понравилось, девочка почувствовала: эта не бросит, эта своя.

Их звали Маша и Даша — нет, не так: одну Маша, другую Даша, — но кто есть кто, девочка не запомнила, потому что имена ничто, а рука всё.

Они играли вместе, рисовали, лепили, строили из кубиков дом, и дом рушился, и они строили снова, и снова, и смеялись, и это было счастье — не громкое, тихое, как камушек в кармане.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.